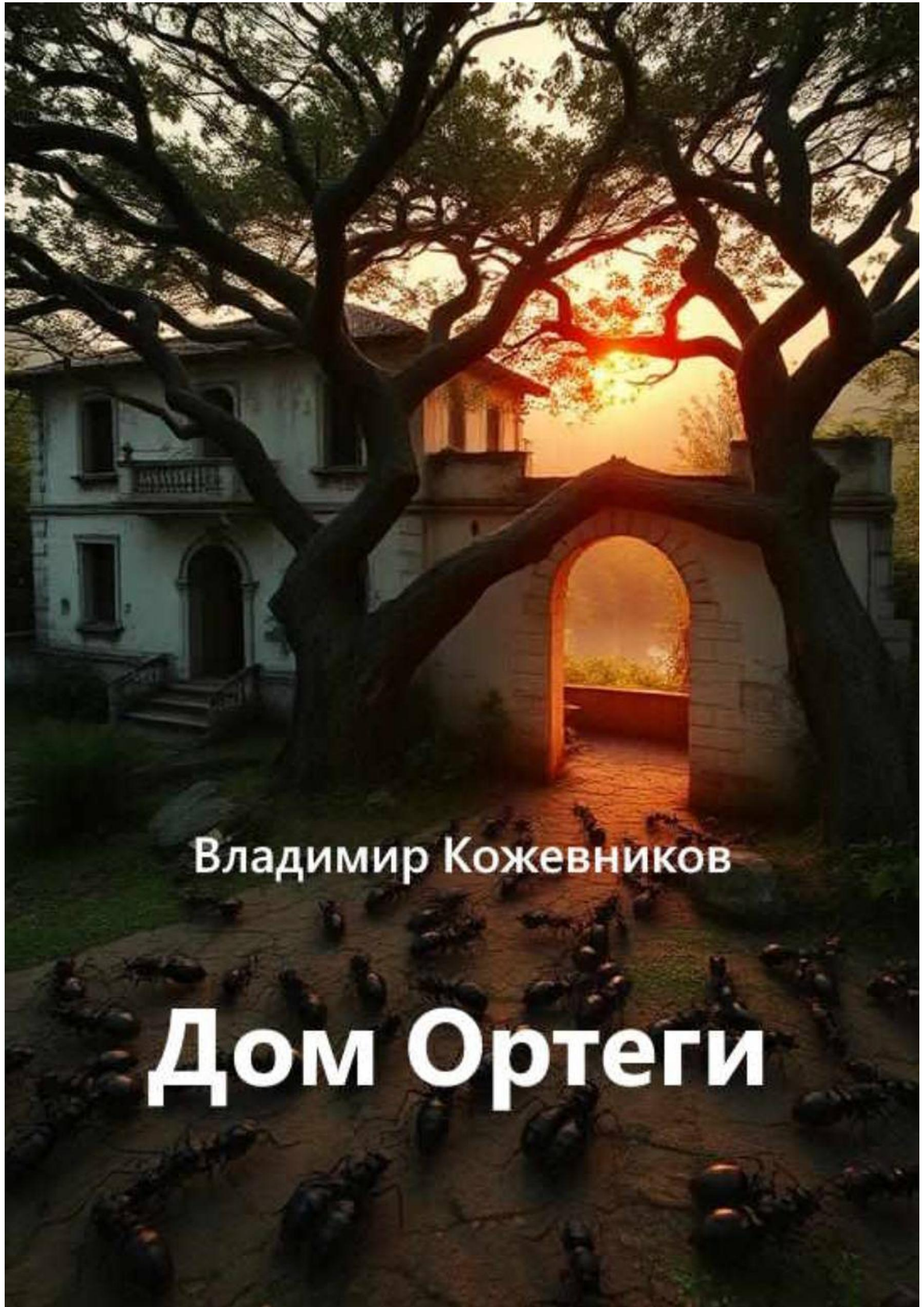




Владимир Кожевников

Дом Ортеги

Владимир Кожевников
Дом Ортеги

«Автор»

2026

Кожевников В. В.

Дом Ортеги / В. В. Кожевников — «Автор», 2026

В Макондо, где воздух пахнет гниением и надеждой, стоит дом Ортеги из белого камня и суеверий. Проклятие стекла, наложенное рубиновым сердцем, заставляет стены сочиться янтарём, реку — течь вспять, муравьёв — строить подземные города. Здесь рождаются дети с хвостами, Ремедиос возносится на небо в покрывале из солнечных лучей, а близнецы, связанные единой душой, слышат зов таинственного яйца в подвале — хранилища памяти всех поколений. Последняя из рода, Мария Аурелия, пятилетней девочкой спускается во тьму и говорит яйцу «здравствуй», не ведая, что однажды ей придётся выбирать между вечным покоем и смертной свободой. Столетняя сага о любви, что душит, и одиночестве, что исцеляет.

© Кожевников В. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава I. Корни из воска	5
Глава II. Река, текущая вспять	9
Глава III. Дети из воска	12
Глава IV. Пергаменты Мелькиадеса	15
Глава V. Янтарный чертог	18
Глава VI. Глас предков	20
Глава VII. Материнский круг	24
Глава VIII. Дом безмолвия	28
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Владимир Кожевников

Дом Ортеги

Глава I. Корни из воска

Она проснулась в четыре утра от запаха тлеющих фитилей и поняла, что день будет долгим. Урсула Игуаран де Ортега, чей возраст давно перестал поддаваться счёту, лежала в постели, и каждое движение её тела отзывалось внутри хрустом, похожим на треск льда в стакане с лимонадом. Простыни пахли крахмалом и слабым, почти выдохшимся ароматом лаванды — той самой, что она собирала девочкой на склонах Сьерра-Невады, где воздух настолько чист, что в нём видны сны ещё не зачатых поколений. Она провела ладонью по лицу и ощутила под пальцами не морщины, а тонкую сеть трещин, словно кожа превращалась в фаянсовую глазурь, готовую осыпаться от резкого звука. Где-то глубоко в горле, когда она сглатывала, раздавался тонкий звон, будто кости стали полыми, как у птицы, готовой взлететь.

В соседней комнате спала Амаранта, её внучка, всю ночь просидевшая над вышивкой. Она вышивала собственный саван — уже седьмой год подряд, и с каждым стежком пальцы её истончались, делаясь почти прозрачными на свет. Урсула слышала сквозь стену её прерывистое дыхание и знала: Амаранте снова снится тот день, когда она отказала полковнику Аурелиано в поцелуе под каштаном, и теперь расплачивается за эту гордость вечной девственностью, которая душила её медленно, как удавка, свитая из невысказанных слов.

Дом пробуждался послойно. Сначала запели половицы в галерее — там, где ночами любили бродить призраки умерших кузенов; потом в гостиной затикали часы, и звук этот походил на падение капель в глубокий колодезь; наконец, на кухне загремела посудой Пилар, единственная из прислуги, помнившая времена, когда дом гудел от детских голосов, а не шёпотов и томительных пауз.

Урсула поднялась. Всегда, вставая, она испытывала одно и то же: чувство, будто забыла сделать что-то непоправимо важное — может, родить ещё одного ребёнка или произнести слова, способные остановить проклятие. Но муж, Хосе Аркадио Ортега, основатель рода, теперь сидел привязанным к каштану во дворе — туда его увёл рассудок, сбежавший от реальности шесть десятков лет назад. Он почти не разговаривал, только лепил из глины человечков, которые оживали и тут же рассыпались в прах, да ел землю со двора, уверяя, что в ней больше мудрости, чем во всех книгах. Урсула каждое утро выносила ему миску маиса, и он брал её дрожащими руками, а потом долго смотрел на жену глазами, в которых отражалось небо, лишённое птиц.

В то утро она вышла во двор раньше обычного и замерла на пороге. Воздух был густым, почти осязаемым — как кисель из гуаявы, которым кормят младенцев, чтобы они не плакали. В нём плавали пылинки, мерцающие необъяснимым перламутром, а от каштана исходило слабое сияние, какое бывает от гнилушек в сыром лесу. Хосе Аркадио сидел под деревом и улыбался беззубым ртом; в руке его вертелась глиняная фигурка — женщина с распущенными волосами и руками, воздетыми к небу.

— Она уйдёт сегодня, — прошамкал он, не глядя на Урсулу. — Я сделал её из земли, в которую добавил слёзы Ремедиос. Видишь, она уже не касается моей ладони.

Урсула присмотрелась и увидела, что фигурка действительно парит над морщинистой ладонью старика, едва заметно подрагивая. И тогда в памяти её вспыхнула картина: тот самый день, много десятилетий назад, когда Хосе Аркадио, ещё полный сил и гордыни, стоял в своей мастерской и вырезал из кровавого рубина человеческое сердце. Вокруг были разложены инструменты, пахло разогретым воском и медной стружкой, а он, не отрываясь, твердил: «Я

сделаю сердце, которое не остановится». Урсула умоляла его не гневить Бога, но он лишь смеялся. Вспышка памяти была такой яркой, что старуха покачнулась; а когда морок рассеялся, она снова стояла во дворе, и парящая фигурка по-прежнему дрожала над ладонью мужа.

Она перекрестилась и поспешила в дом. Ей не требовалось объяснений: Ремедиос Прекрасная, её праправнучка, девочка с кожей, пахнущей печёным хлебом, и глазами, в которых мужчины тонули, не умея плавать. Та, что ткала покрывало из солнечного света в комнате без окон. Та, что никогда не болела, не плакала и не лгала.

В тот самый миг на другом конце дома проснулся полковник Аурелиано Ортега, сын Урсулы, проигравший тридцать две войны и переживший четырнадцать покушений. Он лежал на походной койке в бывшей мастерской ювелира, потому что отказался спать в нормальной постели после того, как его последняя жена умерла от укуса скорпиона, заползшего в подушку. В комнате пахло оружейным маслом и старой медью. Открыв глаза, он увидел на потолке трещину, которой прежде не было: она напоминала русло пересохшей реки. Он сразу всё понял. Четырнадцать лет назад, когда Ремедиос только научилась ходить, он уже знал, что она не задержится в этом мире. Знал по тому, как она, трёхлетняя, смотрела на бабочек: не с детским восторгом, а с пониманием, будто читала в узорах их крыльев расписание собственной души.

Он встал в темноте, натянул сапоги и вышел в коридор, где уже собирались остальные. Аурелиано-учёный, его внук, стоял, прижавшись лбом к холодной стене, и шептал цифры — он рассчитывал вероятность вознесения именно сегодня, и у него получалось 99,7 процента, но он не мог взять в толк, откуда взялись недостающие 0,3. Амаранта, в ночной рубашке, теребила край недовышитого савана. Аркадио, брат, нервно курил сигару, и дым сворачивался в кольца, похожие на буквы неизвестного алфавита.

— Она ещё не выходила, — сказала Пилар, появляясь из темноты с подносом кофе. — Но я слышала, как она пела. Ту самую песню, что пела ваша мать, когда рожала мёртвых детей. От неё молоко скисает в грудях.

Никто не ответил. Полковник взял чашку, и кофе пошёл рябью, хотя рука его не дрожала. Амаранта вдруг подняла глаза на полковника — впервые за долгое время посмотрела прямо, без вековой обиды, — и спросила тихо, но отчётливо:

— Ты помнишь вкус фиалок, что росли у реки? Тех, что я собирала в венки, когда мы ещё умели говорить друг с другом?

Полковник помнил. Эти фиалки пахли так сладко, что от них першило в горле, и он каждый раз давился этим запахом, потому что именно с ним было связано ощущение невысказанного. Он помнил, как Амаранта, шестнадцатилетняя, плела ему венок, а он не решился поцеловать её, потому что война уже тогда стояла у него за плечом, шепча на ухо номера полков и названия мест, где ему суждено потерять себя. И ещё он помнил, что спустя много лет, когда он вернулся, она встретила его на пороге с венком из фиалок, внутри которого копошились живые пчёлы. Он тогда понял: она всё ещё любит его той любовью, которая не прощает. Но вслух сказал только:

— Помню. Этот вкус у меня до сих пор на губах, как ожог.

Амаранта отвернулась и снова склонилась над вышивкой.

И тут дверь в конце коридора, та самая, что вела в комнату Ремедиос, медленно отворилась. Ничья рука её не касалась. Из проёма хлынул свет — не яркий, но плотный, цвета топлёного молока, в котором кружились частицы, похожие на крылышки моли. Запах печёного хлеба сгустился до такой степени, что у Пилар выпал из рук поднос, а у Аркадио погасла сигара. Ремедиос Прекрасная вышла в коридор босая, в простом белом платье. Волосы её, никогда не знавшие ножниц, струились до пола, и в них запутались две живые бабочки — медная и перламутровая. Лицо выражало полный покой.

— Я закончила, — сказала она голосом, похожим на шум ветра в листве каштана. — Теперь оно ваше. Берегите его.

Она протянула руки, и все увидели покрывало — невесомое, сотканное будто из воздуха и воспоминаний, переливающееся цветами без названий. Оно мерцало, точно внутри горели сотни крошечных свечей. Аурелиано-учёный шагнул вперёд, но полковник удержал его:

— Не сейчас. Ещё не время.

Ремедиос улыбнулась и пошла по коридору. Там, где ступали её босые ноги, половицы покрывались тонким слоем инея, хотя духота тропического утра никуда не делась. Она миновала гостиную, где ещё держался запах грибов, выросших в эпоху нескончаемых дождей; миновала мастерскую, где прапрадед вырезал сердце из рубина; миновала кухню, где на столе лежала кукуруза, готовая закричать, если её порезать. И вышла во двор.

Вся семья потянулась за ней, словно на невидимых нитях. Даже Хосе Аркадио у каштана поднял голову и перестал мять глину. Солнце всходило, но лучи его отливали серебром, как в затмение. Ремедиос остановилась посреди двора, подняла голову и вздохнула. В тот же миг всё замерло: цикады умолкли, собаки в деревне перестали лаять, ветер затаил дыхание. Покрывало, которое она так и не отдала, вспорхнуло с её ладони, развернулось и повисло над ней, словно балдахин. Оно росло, ширилось, пока не укрыло весь двор, и тогда Ремедиос, раскинув руки, стала подниматься.

Это не было падением вверх. Это было медленное скольжение сквозь воздух, ставший вдруг жидким, и в нём проступали контуры иных миров. Урсула, застыв на пороге, увидела, как пятки девочки отрываются от земли, и почувствовала, как рвётся в груди шнур, соединявший её с будущим рода.

— Ремедиос! — крикнула Амаранта, повысив голос впервые за многие годы. — Возьми меня с собой!

Но девочка лишь покачала головой и произнесла слова, которые потом повторяли в доме десятилетиями:

— Ты ещё не дошла свой саван. А я уже дошла.

Поднимаясь, она проходила сквозь ветви каштана, и листья окрашивались в цвет её глаз — тёмно-медовый, с золотыми прожилками. Хосе Аркадио протянул руки, и его глиняная женщина окончательно ожила, сорвалась с ладони и полетела следом, кружась вокруг Ремедиос, как мотылёк вокруг лампы. Старик засмеялся — впервые за шестьдесят лет, — и смех его был таким чистым, что все заплакали.

Ремедиос поднималась всё выше. Она миновала крышу, не задев ни одной черепицы, и теперь висела над домом, освещённая серебряным солнцем. Волосы её развевались, рождая новых бабочек, и те улетали прочь. Небо над ней раскрылось кругами, словно вода, в которую бросили камень. В этих кругах угадывались лица ещё не рождённых Ортег. Полковник, не мигая, смотрел туда и различал: вот мальчик с хвостом свиньи; вот муравьи уносят последнего из рода; вот он сам, привязанный к каштану, такой же дряхлый, как отец. И не ужаснулся, а лишь кивнул, подтверждая давно подписанный договор.

Она становилась всё прозрачнее, её тело таяло, превращаясь в чистый свет. Последним, что исчезло, был запах печёного хлеба, который ещё долго витал над двором, смешиваясь с запахом сырой земли и старой глины. Когда всё кончилось, покрывало медленно опустилось на каштан, укутав его, словно саваном, и дерево засияло так ярко, что на полчаса во дворе настал искусственный день. Все замерли, наблюдая этот свет. Затем сияние угасло, и наступила тишина.

Ортеги стояли во дворе, не смея пошевелиться. Урсула думала о костях сестры, закопанных в фундаменте, и гадала, приняли ли они этот исход. Амаранта вернулась в дом и, не проронив ни слезинки, продолжила вышивать саван, но стежки стали ещё мельче, почти невидимыми. Полковник ушёл в мастерскую, вынул золотые часы прадеда, шедшие задом наперёд, и положил их на верстак. Стрелки дрогнули и побежали вспять с удвоенной скоростью, отсчитывая время к тому дню, когда он стоял по пояс в реке и смотрел на прозрачных рыб, пожира-

ющих его воспоминания. Теперь он понял: вознесение Ремедиос было не концом и не началом, а всего лишь поворотом спирали, ведущей род к единственно возможному финалу.

Аурелиано-учёный заперся в кабинете, обложился пергаменатами и попытался зафиксировать каждую деталь. Он чертил круги, вписывал в них буквы еврейского алфавита, вычислял пропорции и снова и снова получал одно и то же слово: «никто». Тогда он заплакал от бессилия, размазывая чернила по лицу.

Один лишь Хосе Аркадио у каштана оставался счастливым. Он лепил новых человечков — целую семью с младенцем, — и улыбался. Вокруг его головы кружился рой светлячков, и было ясно: он видит то, чего не дано увидеть остальным. Может быть, он видел, как по ту сторону реальности Ремедиос Прекрасная идёт по бескрайнему полю, а навстречу ей выходят все умершие Ортега с прозрачной кожей, через которую просвечивают звёзды. Может быть, слышал их голоса, сливающиеся в хор, который пел ту самую песню, от которой скисало молоко.

К полудню со стороны банановых плантаций пришёл ветер и принёс с собой запах гниющих стеблей и далёкого моря. Дом Ортеги стоял на холме, как прежде, — белый камень, увитый плющом, — но что-то в нём изменилось безвозвратно. Проклятие стекла, о котором столько говорили, не исчезло, но затаилось, выжидая. Одиночество каждого из членов семьи стало чуть плотнее, но и чуть прозрачнее, будто Ремедиос, уходя, забрала с собой часть их боли, растворив её в небе. А пальма, на чьих листьях проступали имена умерших, распустилась белыми цветами, источавшими аромат, напоминающий одновременно ваниль и порох.

Вечером никто не сел ужинать. Пилар, убирая нетронутые тарелки, нашла на одной из них крошечную стеклянную бусину — слезу, превратившуюся в стекло. Она хотела выбросить её, но передумала и повесила на нитке у изголовья своей кровати. И когда ночь опустилась на Макондо, бусина засветилась мягким светом, и в ней, как в крошечном окошке, можно было увидеть девочку в белом платье, идущую по облакам, и за ней тянется шлейф из бабочек, а впереди горит звезда, которой ещё нет на небе.

Глава II. Река, текущая вспять

Она проснулась оттого, что вода в графине на прикроватном столике пошла кругами, хотя ни одна живая душа к нему не прикасалась. Урсула села на постели и сразу поняла: река проснулась. Она прожила довольно, чтобы угадывать перемены мира по самым ничтожным знакам: по инею на каштане в середине августа, по муравьям, марширующим похоронным строем, по тому, как её собственные морщины вдруг складывались в карту несуществующей местности. Но то, что творилось за окном, заставило её сердце пропустить удар.

Воздух гудел, как натянутая струна. Деревья в саду гнулись не от ветра, а от невидимого давления, и каждый лист звенел, словно маленький колокольчик. Урсула босиком прошлёпала к окну и отдернула штору. В сером рассветном свете она увидела реку, которая текла вспять. Вода двигалась медленно, нехотя, унося к горам вырванные кусты,дохлую птицу с ярко-синими перьями и стул из городской ратуши; на стуле сидел котёнок и мяукал, не раскрывая пасти, — звук шёл изнутри его дрожащего тельца.

— Хосе Аркадио, — прошептала она, глядя в сад, где её муж, привязанный к каштану, спал, уронив голову на грудь. Глиняные человечки, которых он лепил, лежали вокруг без движения, словно тоже спали. — Ты виноват. Ты и твоё рубиновое сердце.

В доме тем временем просыпались остальные. Полковник Аурелиано, спавший в мастерской, услышал странный звук — будто кто-то водил мокрым пальцем по краю бокала. Он открыл глаза: вода в стакане на верстаке не просто шла кругами, а кипела без огня, выбрасывая холодные пузырьки. Стакан треснул, и жидкость выплеснулась, но не растеклась, а застыла в воздухе стеклянной спиралью. Полковник осторожно коснулся её пальцем — и отдернул: спираль обжигала холодом. Он оделся и вышел во двор, где уже стоял Аурелиано-учёный, без очков, со встрёпанными волосами, держа блокнот.

— Дядя, — произнёс он, не здороваясь, — вода идёт вспять. Я всю ночь вычислял: каждое обратное событие — это плата за какой-то невыполненный долг. Помните, когда Ремедиос вознеслась, покрывало упало на каштан, но что-то осталось неоплаченным. Я думаю, река требует своё. Только не могу понять, что.

Полковник взглянул на племянника и увидел в его глазах отражение собственной молодости — той поры, когда он сам склонялся над картами сражений и верил, что всё можно просчитать. Он ничего не сказал, лишь кивнул в сторону реки и зашагал вниз.

Берег был усеян предметами, но внимание сразу приковывали часы. Сотни часов: напольные, наручные, карманные, с кукушкой и без. Все они шли, показывая разное время, и ни одно не совпадало с действительностью. Среди этого хаоса Аурелиано-учёный мгновенно отыскал золотые часы прадеда — те самые, что полковник бросил в реку много лет назад. Они не только шли, но и вызванивали мелодию, ту, что когда-то играла пианола мертвеца-кузена. Юноша поднёс их к уху и разрыдался, осознав вдруг, что время — не прямая и не круг, а бездонный колодец, в который можно падать вечно.

В этот миг из воды показалась лодка. Она была сплетена из живых водорослей и скреплена рыбьими костями; вёсла держал некто, чьё лицо заменяла гладкая поверхность, отражающая небо. Одежда его струилась, как ртуть. Гость заговорил, и голос прозвучал внутри каждого, минуя уши:

— Долг. Отдайте долг.

Полковник шагнул вперёд, чувствуя, как под рёбрами просыпается старый воинский гнев.

— Какой долг? Мы всегда платили: мы бросали в реку часы, мы отдавали ей покойников, мы поили её слезами.

— Вы бросили в неё первенца. Вы солгали, что он мёртв. — Гость повернул голову к дому, где на пороге уже стояла Урсула, белая как мел. — Первенец без рта жив. Река вскормила его. Теперь он — ваш сон, ваша совесть и ваш конец. Пока он не вернётся к вам, время будет течь вспять, и род Ортега не сможет умереть.

Тишина накрыла берег, тяжёлая, как мокрая шерсть. Урсула медленно сошла с крыльца, не замечая, что босые ноги вязнут в глине. По щекам её текли слёзы — обычные, водянистые, уже не превращающиеся в стекло. Она дошла до кромки и опустилась на колени.

— Это я. — Голос её прозвучал глухо, но эхо разнесло его над водой. — Я бросила его. Я испугалась. Он родился без крика, без губ, без возможности сосать молоко. Я подумала, что это наказание за грех, за то, что мы с Хосе Аркадио поженились, зная о родстве. Я бросила его в реку и сказала, что он мёртв. Сто лет я ношу эту ложь, как камень в животе.

Река отозвалась всплеском. В центре русла начала подниматься фигура — высокая, прозрачная, с очертаниями человека, у которого на месте рта была лишь гладкая кожа. Он не шёл, а скользил по поверхности, и вокруг него закручивались спирали. Когда он приблизился, все увидели его глаза — глаза Урсулы, но бездонные, как ночь, в которой утонули звёзды.

Он не издавал ни звука, но каждый слышал внутри: «Мать». Урсула рухнула лицом в глину. Полковник подбежал и подхватил её. Амаранта, стоявшая в дверях, прижала руки к груди и взглянула на свои ладони: они больше не были прозрачными, а словно вырезаны из матового стекла, прохладного и чуть шершавого. Это новое ощущение принесло не страх, а странное облегчение — словно вина, которую она носила за отказ полковнику, наконец начала рассасываться.

Существо без рта простёрло руку к дому, и в то же мгновение каштан, под которым сидел Хосе Аркадио, зацвёл. Старик поднял голову, улыбнулся и запел песню без слов — ту самую, что когда-то напевала его жена, убаюкивая нерождённых младенцев. Мелодия поплыла над рекой, и вода, всё ещё текущая вспять, замедлилась, словно прислушиваясь, а потом пошла вперёд, обычным ходом. Птицы в небе, до того летевшие хвостами вперёд, развернулись. Часы на берегу одновременно затикали в нормальном ритме. Гость кивнул и растаял, а безротый первенец опустился обратно в воду, но его уход не оставлял пустоты — скорее примирение.

Урсула, стоя на коленях в глине, подняла голову. На том месте, где сомкнулась вода, покачивалась белая лилия с золотой сердцевинкой. Она потянулась к ней, но цветок ускользнул, утянутый течением. Зато, вернувшись домой и вынимая руки из карманов передника, она нашла один-единственный лепесток, пахнувший мятой — той самой, что когда-то пропитывала шкатулку с костями её сестры.

— Вот так, — сказала она пустому дому, — мы вернули долг. Не деньгами, не временем, а признанием.

В доме разошлись по комнатам. Полковник положил часы прадеда на верстак, и они пошли — впервые за десятилетия — как обычные часы, отбивая секунды с монотонной надёжностью. Аурелиано-учёный просидел на берегу до темноты, глядя на успокоившуюся воду, и в блокноте его появилась лишь одна строка: «Сегодня я перестал вычислять». Амаранта продолжала вышивать саван, но стежки стали крупнее и ровнее, и впервые за долгие годы она уснула без сновидений.

Наутро никто не вспоминал о случившемся, но что-то неуловимо изменилось. В саду выросли грибы, источавшие не зловещий смех, а тихую убаюкивающую мелодию. В фундаменте перестали шептать кости. А на каштане, рядом с покрывалом Ремедиос, распустился цветок граната — знак плодородия, которого дом не знал два поколения.

И ещё одно изменилось: Урсула, ложась спать, вдруг поняла с необъяснимой уверенностью, что проклятие не снято, а лишь отсрочено, что семя уже посеяно и даст всходы, когда придёт срок. Она ощущала это как лёгкое шевеление в животе, хотя была слишком стара для беременности. Это шевелилось будущее.

А за семь месяцев до того дня, когда в доме родился мальчик с хвостом свиньи, никто из Ортег не смотрел на реку без содрогания, но и без благодарности. И лишь Хосе Аркадио, привязанный к каштану, лепил из глины фигурку младенца с крошечным хвостиком и улыбался, потому что знал: искупление всегда приходит в обличье того, чего мы больше всего боимся.

Глава III. Дети из воска

В год, когда Аурелиано исполнилось семь лет, дом Ортеги наполнился такой тишиной, что даже часы в гостиной перестали тикать и только двигали стрелками беззвучно. Амаранта умерла годом раньше, и мальчик помнил, как это случилось: она сидела в углу, вышивая свой бесконечный саван, и вдруг её пальцы замерли, а тело сделалось до того прозрачным, что сквозь него можно было разглядеть узор трещин на стене. Она не упала, не вздохнула — просто перестала быть, оставив после себя лишь запах фиалок и готовый саван, который сполз с колен и развернулся на полу. На саване были вышиты сцены, которые ещё не произошли, и одна из них — мальчик с хвостом, стоящий перед зеркалом, из которого на него смотрит женщина с медными волосами. Урсула, ослепшая почти полностью, но всё ещё различавшая очертания предметов, велела повесить саван в гостиной на двух гвоздях, и с тех пор он висел там, источая слабый, едва уловимый аромат тления, смешанный с лавандой, которую Амаранта зашивала в складки.

Мальчик рос одиноким, но не был одинок: с ним всегда были муравьи. Они не разговаривали с ним, как с людьми, не шептали на ухо откровений, но их маршруты, их танцы, их коллективные труды складывались для него в такую же внятную систему, как для других людей — буквы и цифры. Он знал, что, если муравьи дважды обойдут ножку стола и свернут к очагу, быть дождю; если они выстроят из хлебных крошек круг — жди смерти в доме. Когда полковник Аурелиано в очередной раз отказался от еды и заперся в мастерской, муравьи выложили на пороге крест, и мальчик понял всё без слов.

Он пришёл к Урсуле, сидевшей в кресле-качалке и перебиравшей чётки, не молясь, а просто ощупывая пальцами стёршиеся бусины.

— Дедушка Аурелиано скоро уйдёт. Муравьи показали крест.

Старуха не удивилась. Она уже давно чувствовала приближение этой смерти: последние дни воздух в доме стал тяжёлым, как перед грозой, а половицы по ночам пели похоронные песнопения на языке, которого она не знала, но интонации узнавала. Она велела мальчику отвести её к каштану. Там, под ветвями, всё ещё сидел Хосе Аркадио, основатель рода, и лепил глиняных человечков. Вокруг него стояли целые армии фигурок, расставленных концентрическими кругами, и у каждой было лицо одного из Ортега, живого или мёртвого. Не хватало только двоих: самоё старика и полковника.

— Сегодня он сделает недостающих, — прошептала Урсула. — И тогда всё будет готово.

Полковник вышел из мастерской на закате. Он надел старый мундир, от которого ещё пахло порохом и горьким потом тридцати двух проигранных войн. Он шёл, опираясь на ружьё, но не как на оружие, а как на посох. Увидев мать, отца и правнука, он остановился, окинул их долгим взглядом и сказал слова, которые они уже слышали в своих снах:

— Я готов. Привяжите меня.

Мальчик сходил в чулан и принёс верёвку — ту самую, что когда-то сплела Амаранта из стеблей банановых деревьев для своего савана, но не успела пустить в дело. Вдвоём с Урсулой, чьи руки, сморщенные, но всё ещё сильные, двигались с уверенностью, рождённой долгим знанием ритуала, они привязали полковника к стволу каштана. Тот стоял прямо, не сопротивляясь, и пока мальчик затягивал узлы, смотрел на облака, окрашенные медью заката.

— Запомни, — сказал он тихо, обращаясь к правнуку, — я проиграл тридцать две войны, но не сожалею ни об одной. Сожалею только о том, что так и не научился любить, не оставляя синяков. Ты — научись.

Когда последний узел был затянут, полковник закрыл глаза. Черты его лица немедленно начали грубеть, покрываться трещинами, как старая фанера, и ещё до наступления темноты он был уже неотличим от дерева. Лишь золотые пуговицы мундира поблёскивали сквозь кору,

словно глаза, которые ещё видели. Хосе Аркадио, сидевший по другую сторону ствола, протянул руку и прилепил к коре только что вылепленную фигурку — маленького солдата с ружьём. Это была последняя фигурка из его коллекции. Теперь все были на местах.

Смерть полковника сломала последнюю невидимую преграду, и муравьи начали проникать в самые потаённые уголки дома. Они прогрызли дыру в фундаменте, прямо там, где когда-то Урсула закопала кости сестры, и вынесли на поверхность множество странных вещей: позеленевшие монеты, на которых профиль какого-то забытого императора соседствовал с изображением муравья; серебряный напёрсток с инициалами У.И.; осколок рубина величиной с ноготь, в котором, если присмотреться, можно было увидеть слабую пульсацию, словно внутри всё ещё билось сердце. Но главное — они принесли ключ. Маленький, из металла, который не ржавел и не поддавался никакому воздействию, он был покрыт гравировкой, похожей на муравьиные дорожки.

Аурелиано взял ключ и сразу понял: он от сундука Мелькиадеса. Того самого сундука, что стоял в кабинете Аурелиано-учёного, обложенный со всех сторон пергаменами и картами звёздного неба. Сам учёный, уже не встававший с постели, но продолжавший чертить формулы на стенах углём, увидев ключ в руках мальчика, заплакал беззвучными слезами.

— Сорок лет, — прошептал он, — сорок лет я искал этот ключ. А ты нашёл его, даже не ища. Открой сундук. Там — твоя судьба.

Мальчик колебался. Он подошёл к Урсуле и спросил, что ему делать. Старуха долго молчала, перебирая чётки, а потом сказала:

— Там написана история нашего рода от начала и до конца. Мелькиадес записал её ещё до того, как родился твой прапрадед. Тот, кто прочтёт её до конца, узнает всё и перестанет существовать вместе с домом. Ты готов к этому?

— А я должен? — спросил мальчик.

— Нет, — ответила Урсула, — ты никому ничего не должен. Но я знаю: ты всё равно прочтёшь. Потому что ты — Ортега, а Ортега всегда выбирают знание, даже если оно убивает.

В тот вечер он впервые подошёл к сундуку. Замок поддался ключу с мягким щелчком, и крышка открылась, выпустив запах сандала и сухих листьев. Внутри лежали пергаменты — древние, но не тронутые временем. Буквы на них переливались, меняли очертания, текли, как ртуть. Мальчик взял первый лист и начал разбирать слова. Первая строка гласила: «Первый в роду привязан к дереву». Он узнал эту фразу — Аурелиано-учёный часто бормотал её во сне. Дальше шли символы, которые предстояло расшифровать, но мальчик не торопился: он чувствовал, что, начав читать всерьёз, он уже не сможет остановиться.

В те дни в Макондо остановился бродячий цирк. Пилар, старая служанка, помнившая ещё основание дома, решила, что мальчику нужно увидеть мир за пределами стен, пропитанных одиночеством. Она одела его в чистую рубаху, накинула поверх длинный плащ, скрывающий хвост, и повела на ярмарку.

Там, среди жонглёров, глотателей огня и продавцов леденцов, мальчик увидел девочку. Она сидела на ковре, скрестив ноги, и раскладывала карты. Её волосы цвета старой меди были заплетены в две косы, а глаза — он сразу это заметил — напоминали ему чьи-то давно забытые глаза. Она подняла на него взгляд и сказала:

— Ты из дома на холме. Того, что построен из белого камня и суеверий.

Аурелиано кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Девочка продолжала:

— Я знаю этот дом. Он мне снится каждую ночь. Там есть дерево, которое было человеком, и комната без окон, где всё ещё пахнет хлебом.

— Откуда ты знаешь? — спросил он наконец.

— Не знаю. Просто знаю. Меня зовут Мария дель Росарио. Я сирота. Мои родители умерли, когда мне было три года, и я ничего о них не помню. Но иногда мне кажется, что моя настоящая семья живёт в доме на холме.

Аурелиано вернулся домой сам не свой. Ночью он написал на клочке бумаги, вырванном из старой приходской книги: «Приходи к реке, когда луна станет полной. Я покажу тебе то, чего нет ни у кого». Записку он привязал к муравью — самому крупному, с блестящим брюшком, — и муравей унёс её, двигаясь так целеустремлённо, будто знал адресата. Через два дня под подушкой мальчик нашёл ответ на лепестке магнолии: «Я приду».

Они встретились у реки, там, где когда-то полковник смотрел на прозрачных рыб, а ещё раньше Урсула полоскала бельё. Мария пришла босиком, с венком из живых цветов на голове. Они сели на берегу, касаясь воды кончиками пальцев, и долго молчали. Потом Мария сняла венок и бросила его в реку — и в тот же миг вода остановилась. Не замёрзла, не обратилась вспять, а замерла, как стекло, и на её поверхности проступили отражения. Но это были не лица детей — там, под неподвижной гладью, стояли мужчина и женщина в старинных одеждах: Хосе Аркадио, ещё молодой, и Урсула с косой света. Они смотрели на Аурелиано и Марию и улыбались.

— Это они, — прошептала Мария. — Те, кого я вижу во сне. Значит, я и правда Ортега.

Она не испугалась. В её голосе звучало не отчаяние, а странное удовлетворение, как будто долгий поиск наконец завершился. Аурелиано чувствовал то же самое. Он знал пророчество о кровосмешении, о том, что грех породит чудовище и род прервётся. Но рядом с этой девочкой, чьи глаза напоминали ему одновременно Урсулу и Ремедиос, все пророчества казались чем-то далёким и неважным. Он взял её за руку, и вода в реке снова побежала — тихо, обычным ходом, унося венок из живых цветов к далёким горам.

Они вернулись в дом вместе. Урсула, сидевшая в кресле, сразу узнала запах — от Марии пахло теми же травами, что когда-то росли в саду, пока их не вытеснили грибы. Старуха не стала ни отговаривать, ни благословлять. Она лишь сказала:

— В этом доме любовь всегда пахнет дымом. Помните об этом.

В подвале Аурелиано показал Марии зеркало. Они заглянули в него вдвоём и увидели не бесконечную анфиладу комнат, а единственное отражение: они сами, но старше, и на руках у них младенец с хвостом вместо ног, а на лбу младенца — родимое пятно в форме муравья. Зеркало пошло трещинами, но не осыпалось, и каждая трещина светилась мягким золотистым светом.

На следующее утро муравьи исчезли. Почти все. Лишь один, самый маленький, остался в доме: он заполз в кабинет Аурелиано-учёного, забрался на раскрытый пергамент и замер на первой строке пророчества, словно превратившись в букву. Учёный, склонившийся над текстом, долго смотрел на него, потом взял увеличительное стекло и увидел, что муравей, окаменев, образовал точку, которой как раз не хватало в самом начале: «Первый в роду привязан к дереву».

Теперь текст был полон. Оставалось только читать.

Глава IV. Пергаменты Мелькиадеса

В то утро кости в фундаменте запели. Это началось ещё до рассвета, когда Мария, на девятом месяце носившая под сердцем дитя, проснулась от звука, похожего на пение флейты, доносившееся из-под пола. Она растолкала Аурелиано, но тот, проведя всю ночь над пергамен-тами, лишь пробормотал сквозь сон: «Это сестра Урсулы. Она всегда поёт, когда время под-ходит». И действительно, Урсула, лежавшая в своей комнате (она уже не вставала, ноги отка-зывали, но разум оставался ясным), услышав мелодию, открыла слепые глаза и улыбнулась.

— Ты пришла, — прошептала она в пустоту. — Давно пора.

Позже, когда солнце поднялось и залило сад светом, Мария вышла во двор. Она двига-лась медленно, придерживая живот, налитый светом — кожа натянулась так, что через неё просвечивали синие жилки, пульсирующие в такт сердцу ребёнка. Под каштаном сидели трое: Хосе Аркадио, всё ещё живой, хотя мох покрывал уже не только ствол, но и его плечи; пол-ковник, превратившийся в кору настолько, что лишь золотые пуговицы мундира напоминали о его человеческой природе; и глиняные фигурки, расставленные вокруг, — целая армия мол-чаливых свидетелей. Старик лепил очередную фигурку, на сей раз младенца с хвостом, и, что удивительно, она не рассыпалась в его пальцах. Он держал её бережно, как живую.

— Он закончил, — сказала Мария вслух, хотя рядом никого не было. — Впервые за сто лет он что-то закончил.

В доме Аурелиано сидел над пергаментами. Ему шёл семнадцатый год, но лицо его, оза-рённое светом масляной лампы, казалось лицом старика: глаза впали, скулы заострились, а хвост, который он больше никогда не прятал, обвивал ножку стула и нервно подрагивал. Он держал в руке лист, исписанный символами, которые больше не нужно было расшифровывать — они сами проступали в сознании, как изображение на фотопластинке, опущенной в прояви-тель. Он читал о том, как безротый брат вернулся в реку; о том, как его мать, имени которой он не знал, умерла, давая ему жизнь; о том, как муравьи начали строить город под фундамен-том, город, в котором каждая улица соответствовала одной из ветвей рода. И наконец, когда он перевернул страницу, перед ним открылись строки, ради которых, казалось, и были написаны все предыдущие:

«И родит женщина из рода Ортега, сама не зная того, младенца с хвостом, и нарекут его Аурелиано, и будет он последним. И унесут его муравьи в своё царство, и станет он королём среди них, а дом обратится в пыль».

Аурелиано отложил пергамент. Он встал, прошёл по коридору, где на стенах ещё висели выцветшие картины, и вошёл в комнату Марии. Она сидела у окна, расчёсывая свои медные волосы, и в солнечном свете они горели, как расплавленный металл.

— Я прочитал, — сказал он глухо. — Наш сын — тот самый последний. Муравьи унесут его, и дом рухнет.

Мария перестала расчёсываться. Она положила гребень на подоконник и посмотрела на Аурелиано долгим взглядом, в котором не было страха — только решимость.

— Ты веришь в это? — спросила она.

— Я верю в то, что вижу. А я видел, как сбывается всё, что написано в этих пергаментах. Когда я читал о вознесении Ремедиос, в комнате без окон запахло хлебом. Когда читал о реке, вода в кувшине пошла кругами. Это не предсказания. Это инструкция.

— Тогда не читай дальше. Сожги их.

— Не могу. — Он покачал головой. — Если я не прочту, я никогда не узнаю, есть ли способ спасти нас. Там, в конце, есть приписка — я видел её. Она сделана другой рукой. Воз-можно, в ней выход.

Мария встала и подошла к нему. Она взяла его лицо в ладони и заставила посмотреть ей в глаза.

— Если ты будешь читать дальше, ты вызовешь то, что написано. А если не будешь — может быть, судьба забудет о нас. Дай нам хотя бы один день. Один день без пророчеств. Пусть наш сын родится в тишине, а не под диктовку мёртвого цыгана.

Аурелиано хотел ответить, но в этот миг из комнаты Урсулы донёсся крик — пронзительный, полный такой муки, что муравьи, сновавшие по плинтусам, замерли на месте. Они бросились туда и нашли старуху сидящей на постели; её слепые глаза были широко раскрыты, а руки тянулись к углу, где сгущалась тьма — та самая, что появлялась всякий раз, когда призраки сестры напоминали о себе.

— Она здесь! — кричала Урсула. — Она говорит, что время пришло! Она говорит, что сегодня ночью они придут за своими!

Мария попыталась успокоить старуху, уложить её обратно, но Урсула оттолкнула её с неожиданной силой.

— Не меня! — прохрипела она. — За ними! — И она указала пальцем в сторону сада, где под каштаном сидели три фигуры.

Аурелиано похолодел. Он понял: сестра Урсулы говорит о стариках. Муравьи придут не за младенцем — по крайней мере, не сегодня. Они придут за теми, чьё время давно истекло, но кто задержался на земле благодаря проклятию. За основателем, который не умер, потому что его душа запуталась в глине; за полковником, который не ушёл, потому что не проиграл свою последнюю войну — войну со смертью; за самой Урсулой, может быть, тоже.

Он бросился к пергаментам. Если там есть ответ, он должен найти его сейчас. Он лихорадочно перебирал листы, пока не добрался до последнего — того самого, где внизу, почти невидимая в свете лампы, была приписка. Он склонился над ней и начал разбирать символы. Это был не тот язык, что в основном тексте: буквы угловатые, колючие, они царапали взгляд. Но постепенно они складывались в слова: «Если тот, кто читает, предложит себя взамен, муравьи возьмут его и оставят дитя. Но читающий должен знать: тогда он станет первым в новом круге, и проклятие не прервётся. Выбор за кровью».

Аурелиано отшатнулся. Значит, выход есть. Но он означает, что его род продолжится снова, и всё повторится — ещё один Хосе Аркадио, ещё одна Урсула, ещё одно вознесение и ещё одна река, текущая вспять. Он не знал, готов ли он к такой жертве — жертве не смерти, а вечного возвращения.

В этот миг у Марии начались схватки. Она вскрикнула и схватилась за живот, и воды отошли прямо на каменный пол кухни, куда она пришла за водой. Пилар, оказавшаяся рядом, подхватила её и повела в спальню, крикнув Аурелиано, чтобы он нагрел воды. Но он не мог двинуться. Он стоял посреди кабинета, сжимая пергамент, и слушал, как крики Марии разрывают тишину дома.

Роды длились долго. Солнце успело пройти половину неба и начало клониться к закату, окрашивая стены в цвет запёкшейся крови. Муравьи, до того прятаявшиеся в щелях, начали выползать наружу. Они не атаковали, не строились в ряды — они просто заполняли пространство, как вода заполняет трещины в сосуде. Их были тысячи, и они двигались молча, деловито, словно знали каждый свой шаг наперёд.

Аурелиано всё это время сидел в кабинете. Он не молился — Ортега никогда не умели молиться. Он просто смотрел на пергаменты и думал. Перед ним лежали два листа: один — с пророчеством о сыне, другой — с припиской. Выбор был ясен, но сделать его он не мог. Тогда он сделал единственное, что пришло ему в голову: он начал читать дальше. Не потому, что хотел узнать будущее, а потому, что надеялся — может быть, в следующих строках обнаружится третий путь.

Он читал, и дом отзывался на каждое слово. Когда он прочитал о том, как его отец — один из бесчисленных Аурелиано — утонул в реке, спасая собаку, в гостиной раздался всплеск, и на полу образовалась лужа воды. Когда он прочитал о том, как Амаранта вышивала саван, с потолка посыпались нитки. А когда он дошёл до описания собственного рождения — до слов «и родился мальчик с хвостом, и муравьи приветствовали его», — муравьи, заполнившие коридор, одновременно пошевелили усиками, словно аплодируя.

И в этот миг из спальни донёсся крик — не Марии, а младенца. Громкий, яростный, полный жизни. Аурелиано сорвался с места и побежал. В спальне он увидел Пилар, держащую на руках крошечное существо, покрытое кровью и слизью, и Марию, бледную, но улыбающуюся. Ребёнок кричал, размахивая ручками, и у него был хвост — длинный, гибкий, точно такой же, как у отца.

— Мальчик, — сказала Пилар. — И хвост при нём. Такого ещё не бывало, чтобы два хвоста в одном поколении.

Аурелиано взял сына на руки. Хвост младенца тут же обвился вокруг его запястья, и он почувствовал странное тепло, разливающееся по всему телу. Впервые за много лет он заплакал — не от горя, а от переполнявшей его любви, смешанной с ужасом.

Мария, наблюдавшая за ним, тихо сказала:

— Теперь ты видишь? Мы не можем позволить им забрать его. Что бы ни говорили пергаменты.

Аурелиано кивнул. Он вернулся в кабинет, бережно уложил младенца в колыбель, стоявшую рядом с письменным столом, и взял пергамент с припиской. Он прочитал её снова, на этот раз вслух — на том самом языке, на котором говорили вещи до имён. Слова зазвенели в воздухе, как стекло, и в тот же миг муравьи, до того беспорядочно сновавшие по дому, остановились. А потом, словно повинувшись неслышиму приказу, все до единого двинулись к выходу — к саду, к каштану.

Аурелиано вышел следом. Он увидел, как муравьиный поток достигает дерева и начинает взбираться по трём фигурам, сидящим под ним. Хосе Аркадио, всё ещё живой, улыбнулся и поднял руку, в которой держал глиняного младенца. Полковник, кора и мох, не шелохнулся. И Урсула — да, она тоже каким-то чудом оказалась там, хотя ещё час назад лежала в постели, — стояла, опираясь на ствол, и лицо её было спокойным, как вода в безветренный день.

— Не выбирай! — крикнула она, увидев внука. — Мы уже выбрали за тебя. Мы уходим, чтобы вы остались. Но помни: проклятие не снимается, оно только откладывается. Когда-нибудь твой сын или сын твоего сына снова встанет перед этим выбором. Будь готов.

Муравьи покрыли их полностью. На мгновение все три фигуры вспыхнули золотым светом — тем самым, что исходил когда-то от покрывала Ремедиос, — а затем погасли. Когда муравьи рассеялись, под каштаном никого не было. Только три глиняные фигурки, аккуратно поставленные в ряд: старик с младенцем, солдатик с ружьём и женщина с косой.

Аурелиано опустился на колени. Он не знал, благодарить ему или проклинать. Он просто сидел и смотрел на опустевшее место под каштаном, пока не почувствовал прикосновение — это Мария, ещё слабая после родов, вышла во двор и опустилась рядом с ним.

— Они ушли, — прошептала она. — Но мы остались.

— Да, — ответил он. — Мы остались. И пергаменты ещё не дочитаны.

В доме, в колыбели, младенец спал. Его хвост во сне сворачивался и разворачивался, словно писал в воздухе невидимые буквы. А в кабинете, на раскрытом пергаменте, муравей — тот самый, что когда-то превратился в точку, — вдруг ожил и побежал по строкам, оставляя за собой светящийся след. Он пробежал до конца страницы и замер на последнем слове: «начало».

Глава V. Янтарный чертог

В то лето, через четыре месяца после того, как муравьи унесли стариков, дом Ортеги начал потеть янтарём. Сначала никто не придал этому значения: Мария, протирая стены от пыли, заметила на извёстке мелкие капли, похожие на застывший мёд, но пахнущие не сладостью, а хвоей и чем-то древним — так пахнут сундуки, которые не открывали столетиями. Она собрала несколько капель в баночку и показала Аурелиано, но тот, погружённый в пергаменты, лишь рассеянно кивнул. К тому времени он уже месяц не выходил из кабинета, читая и перечитывая строки, которые, казалось, менялись каждый раз, когда он отводил взгляд.

Ребёнку было четыре месяца. Он лежал в колыбели из каштанового дерева и смотрел в потолок, по которому бежали трещины, складывавшиеся в карту несуществующего континента — ту самую, что когда-то была на ладонях Хосе Аркадио-младшего. Хвост младенца, длинный и подвижный, обвивал прутья колыбели, хватал висевшую над ним погремушку и иногда, когда мальчик зевал, сворачивался в тугую спираль. Мария часами сидела рядом, кормила его грудью и тихо пела песню без слов — ту самую, которую, по рассказам, пела когда-то Урсула, и от которой скисало молоко. Но её молоко не скисало. Напротив, однажды утром она заметила, что оно стало слаще, и младенец, насытившись, впервые осмысленно улыбнулся.

В этот миг янтарные капли на стенах разом затвердели и засияли мягким золотистым светом, как будто в каждой из них зажглась крошечная свеча. Мария замерла, прижимая ребёнка к груди. Она вспомнила рассказы Урсулы о том, как та вскормила своих выживших детей молоком с толчёным жемчугом, чтобы их глаза запомнили цвет моря, которого они никогда не увидят. И поняла: её молоко тоже стало чем-то бóльшим, чем просто пищей. Оно вобрало в себя магию дома — или, может быть, магия дома признала его.

Аурелиано оторвался от пергаментов, привлечённый сиянием. Он увидел жену и сына, окружённых золотистым ореолом, и почувствовал, как хвост его собственный, давно уже привычно обвивавший ножку стула, напрягся и задрожал. Он понял: что-то изменилось. И бросился к пергаментам.

Той же ночью ему приснился сон. Ему снилось, что он снова маленький, стоит на берегу реки, а рядом сидит цыган с птичьим лицом и магнитным бруском в руках — Мелькиадес, каким он был при жизни. Цыган улыбался, и зубы его были из золота и перламутра.

— Ты всё читаешь, — сказал Мелькиадес, — а надо писать. Пророчество — не приговор, а черновик. Его можно дополнить. Но для этого нужны особые чернила. Возьми яд муравьиной матки и смешай с молоком женщины, которая любит твоего сына больше, чем свою жизнь. Напиши новую строку — и дом примет её.

Аурелиано хотел спросить, где найти матку, но сон уже таял. Проснувшись, он обнаружил в своей руке уголок пергамента, на котором проступила одна-единственная буква — «М», сиявшая тем же золотистым светом, что и капли на стенах.

Утром он рассказал всё Марии. Она выслушала его молча, и на лице её не дрогнул ни один мускул. Потом она вышла в сад, где у каштана всё ещё стояли три глиняные фигурки, и долго стояла перед ними. Ветра не было, но листья каштана вдруг зашелестели, и в воздухе разлился запах лаванды — запах Урсулы. Мария вернулась в дом и сказала:

— Я знаю, что делать. Моё молоко — оно ведь уже не простое. Ты говорил, что Урсула кормила детей жемчугом. А я кормлю его собой. Это и есть та любовь, о которой говорил цыган. Я пойду за ядом. Ты останешься с малышом.

Аурелиано пытался возражать, но Мария была непреклонна. Она спустилась в подвал с масляной лампой в одной руке и пузырьком в другой. Муравьи, кишевшие в темноте, не нападали, а расступались, образуя коридор. В центре подземного зала, где уже вырисовывались очертания будущего города — арки, колонны, крошечные лестницы, — на возвышении

покоилась матка. Она была огромна, полупрозрачна, и сквозь её оболочку просвечивали яйца, похожие на жемчужины.

Мария остановилась перед ней. Она не знала, что сказать, и просто протянула пузырёк. Матка шевельнула усиками, и один из рабочих муравьёв подполз, коснулся её брюшка и выпустил каплю зеленоватой жидкости на горлышко пузырька. Мария поблагодарила — ей показалось, что матка смотрит на неё не как на врага, а как на равную, — и поднялась вверх.

В кухне она сцедила немного молока в мисочку и смешала с ядом. Жидкость зашипела, вспенилась и стала золотой. Аурелиано обмакнул в неё перо — то самое, что когда-то выпало из хвоста попугая, всё ещё жившего в клетке на кухне, — и занёс над пергаментом.

— Что ты хочешь написать? — спросила Мария.

— Я хочу написать, что мой сын не станет королём муравьёв. Что он вырастет свободным. Что род не прервётся, а продолжится, но уже без проклятия.

Он начал писать. Перо скрипело, буквы ложились на пергамент, и каждая из них вспыхивала и гасла, впитываясь в бумагу. Дом дрожал. Янтарные капли на стенах трескались и осыпались, но не пылью, а мелкими осколками, которые, падая, звенели, как стекло. В подвале что-то рухнуло — одна из муравьиных колонн, — но строительство не прекратилось.

Когда последнее слово было написано, Аурелиано выпустил перо. Он и Мария бросились к колыбели. Младенец спал, и хвост его был на месте, но он изменился: теперь он был не тёмно-серым, а полупрозрачным, словно вырезанным из того самого янтаря, что покрывал стены. Он светился изнутри мягким светом, и этот свет пульсировал в такт дыханию ребёнка.

— Он не исчез, — прошептала Мария.

— Нет, — ответил Аурелиано. — Но теперь это не знак проклятия, а знак того, что мы заключили новый договор. Я не знаю, что он значит. Возможно, муравьи всё ещё ждут его. Возможно, яд матки связал его с ними ещё крепче. Но я написал то, что написал.

Мария взяла мужа за руку. Они стояли над колыбелью и смотрели, как янтарный хвост их сына мерцает в темноте, словно маяк. В саду зашелестели листья, и запах лаванды смешался с запахом хвои. Ночь прошла спокойно, но утром Аурелиано увидел, что строка, написанная им, начала бледнеть. Сквозь неё, как сквозь папиросную бумагу, проступали старые слова пророчества. Он понял: борьба не окончена. Пергаменты переписут себя заново, если он не будет дописывать их каждую ночь — теми же чернилами, из молока и яда.

И он снова сел за стол. Впереди была долгая работа.

Глава VI. Глас предков

В ту ночь Аурелиано не спал. Уже которую ночь подряд — он сбился со счёта на сто двадцать седьмой, когда понял, что счёт не имеет смысла. Глаза его, воспалённые от чтения при свете масляной лампы, приобрели свойство видеть буквы даже с закрытыми веками: стоило ему смежить воспалённые веки, как перед внутренним взором проплывали строки пергаментов — и те, что он переписывал этой ночью, и те, что бледнели к утру, и те, что ещё только предстояло написать. Вся история рода, от первого до последнего слова, была впечатана в его сетчатку, как будто он сам стал пергаментом. Это была борьба с тенью, и тень побеждала.

Дом спал глубоким, янтарным сном. С тех пор как два года назад стены начали потеть смолой, а потом застыли причудливыми наростами, весь дом приобрёл сходство с гигантским ульем, залитым мёдом времени. В наростах, если присмотреться, можно было различить навеки замурованных насекомых — муравьёв, мошек, бабочку с крыльями цвета меди, — а также лепестки цветов, обрывки кружев и одну крошечную человеческую фигурку с прозрачными крыльями, застывшую в вечном полёте. Пилар клялась, что это фея, и каждое утро крестилась, проходя мимо.

Мария спала в их спальне, утомлённая дневными заботами о двух детях. Ей снился странный сон: будто она стоит на берегу реки, а вода в реке — не вода, а жидкий янтарь, и в нём плавают, не тонув, все её предки, которых она никогда не знала. Она хотела окликнуть их, но голос не слушался. Сон был тревожным, и она ворочалась во сне, но не просыпалась.

Малышка Амаранта Урсула, которой недавно исполнился год, лежала в колыбели, и её янтарные глаза — такие же, как смола на стенах, — были закрыты. Но Аурелиано знал, что она видит сны, которые не снятся простым смертным. Её первым словом, произнесённым месяц назад, было не «мама» и не «папа», а «там» — и она указала пухлым пальчиком в пустой угол гостиной с такой уверенностью, что Мария расплакалась и потом весь день не выпускала дочь из рук. Позже она стала говорить «дедушка», глядя на глиняные фигурки в саду, и «бабочка», когда никаких бабочек в комнате не было. Она видела тех, кого никто не видел, и Аурелиано подозревал, что она видит их и во сне.

Аурелиано Третий, старший сын, сидел на полу кабинета и не спал. Ему было почти три года, но он редко говорил на языке людей. Зато он разговаривал с муравьями — в этом Аурелиано убедился окончательно после того, как однажды увидел, что муравьи, построившись в круг, маршируют, а мальчик дирижирует ими хвостом, словно палочкой. Его янтарный хвост, унаследованный от отца и изменённый заклинанием, мерцал в темноте мягким золотистым светом, и муравьи ориентировались на этот свет, как моряки на маяк. Этой ночью они вели себя особенно активно: собрались в углу кабинета, образовав идеально ровный круг, и мальчик сидел в его центре, скрестив ноги, и хвост его описывал медленные круги, словно подчиняясь неслышиму ритму.

Аурелиано наблюдал за сыном поверх пергаментов и думал о том, как быстро всё изменилось. Ещё год назад мальчик был просто молчаливым ребёнком, который часами смотрел на муравьёв, но не проявлял иных странностей. Но после того как Мария во второй раз спустилась в подвал — на сей раз она хотела спросить у муравьиной матки, как вылечить дочь от лихорадки, — мальчик начал уходить в себя. Он перестал откликаться на собственное имя, зато стал понимать муравьёв с такой точностью, что мог предсказать, куда они направятся через минуту. Однажды утром Аурелиано застал его сидящим на полу с крошечной короной из травинок на голове — муравьи возложили её, пока все спали.

— Что это? — спросил он тогда.

— Подарок, — ответил мальчик и добавил, помолчав: — Они говорят, что я буду королём. Но я не хочу. Я хочу просто играть.

Это был один из последних разговоров, когда он говорил как обычный ребёнок. Теперь же, глядя на сына, сидящего в круге муравьёв, Аурелиано чувствовал, что мальчик уходит всё дальше — в те сферы, куда отцу нет доступа.

Он взял перо, обмакнул его в чернила — запас, сделанный Марией из её молока и яда матки, хранился в маленьком флаконе из-под французских духов, — и занёс над пергаментом. Нужно было написать ещё одну строку. Всего одну, но такую, которая перевесит все предыдущие. Он писал их каждую ночь уже почти три года, и каждая была маленькой надеждой, которую к утру поглощало разочарование.

Он начал выводить: «И да не войдёт сын мой в подземное царство...»

Но тут перо замерло. Вернее, рука продолжала двигаться, выводя буквы, но кончик пера скользил по бумаге, не оставляя и следа. Чернила кончились? Нет, флакон был полон — он проверил, обмакнул снова. Та же пустота. И в этот момент пергамент начал светиться — мягким, золотистым светом, тем самым, что когда-то исходил от покрывала Ремедиос. На нём, прямо поверх бледных следов его многолетних трудов, проступали новые строки. Чёткие, угловатые, древние. Написанные не его рукой.

Аурелиано резко обернулся. Сын стоял у него за спиной. Когда он успел подойти? Только что он был в круге муравьёв, на другом конце кабинета, и Аурелиано не слышал ни шагов, ни шороха.

— Ты устал, папа, — сказал мальчик. Голос его звучал обычно, по-детски, но в нём слышались какие-то глубинные обертоны, словно эхо в колодце или вторая, более низкая нота, звучащая одновременно с первой. — Ты пишешь уже три года. Каждую ночь одно и то же. Ты устал, я вижу. Дай я.

Он протянул маленькую руку и взял перо. Аурелиано, парализованный изумлением и леденящим ужасом — не перед сыном, но перед тем, что стояло за сыном, — не сопротивлялся. Мальчик не стал обмакивать перо в чернила; он просто провёл им по пергаменту, и там, где касалось остриё, вспыхивали и гасли буквы. Угловатые, клинописные, они напоминали те, что были в самых старых частях пергаментов Мелькиадеса, которые Аурелиано годами не мог расшифровать и в конце концов оставил, решив, что это орнамент.

— Что ты делаешь? — прошептал Аурелиано, хотя в горле у него пересохло и слова выходили с трудом.

Мальчик на мгновение оторвался от писания. Глаза его — янтарные, как у сестры, — были отсутствующими, словно он смотрел сквозь отца, сквозь стену, сквозь само время.

— Я не делаю, — ответил он. — Я слушаю. Тот, кто говорит, стоит у тебя за левым плечом. Он диктует, а я записываю.

Аурелиано резко обернулся. За левым плечом никого не было, только тени, колеблющиеся от лампы, и янтарный нарост в форме застывшего водопада. Но воздух в этом месте был холоднее, чем в остальной комнате.

— Кто говорит? — спросил он, хотя ответ уже складывался у него в голове.

— Тот, кто написал всё это, — мальчик кивнул на пергаменты. — Тот, кто не умер. Тот, кто ждал, пока родится кто-то с хвостом и янтарными глазами, чтобы дописать последнюю страницу. — Он снова склонился над пергаментом, и перо заскользило быстрее. — Дядя Мелькиадес. Он здесь, в этой комнате, с самого начала. Он — дом. Он — муравьи. Он — янтарь. Разве ты не чувствовал? Когда ты читал его слова, дом отвечал. Когда ты переписывал их, муравьи строили. Когда ты боролся с пророчеством, янтарь тёк быстрее. Это всё он.

Аурелиано отшатнулся и опёрся о край стола, чтобы не упасть. В голове его проносились обрывки прочитанного за многие годы: Мелькиадес, цыган, предсказатель, который умер и воскрес, который написал историю рода за сто лет до того, как она началась, который появлялся то в образе старика с магнитным бруском, то в виде голоса во сне. Но чтобы он был... домом?

Муравьями? Янтарём? Это означало, что все Ортега, сами того не зная, жили внутри своего пророка, дышали его дыханием, умирали в его объятиях.

— Он не злой, папа, — сказал мальчик, снова отвечая на незаданный вопрос. Он дописал последнюю букву и отложил перо, аккуратно, как делал отец. — Он не хочет нас убить. Он хочет, чтобы мы остались. Навсегда. Ты пытался переписать его книгу, но это его книга. Он её автор. Ты в ней — персонаж. И я — персонаж. И мама, и сестра. — В его голосе не было ни горечи, ни торжества — только странная, недетская усталость. — Мы не можем переписать автора. Мы можем только дочитать до конца.

И тут Аурелиано посмотрел на пергамент. Строки, появившиеся на нём, гласили — он читал, и каждое слово впечатывалось в память, как клеймо: «И когда последний Ортега допишет последнюю строку, дом обратится в янтарь целиком, и все, кто жил в нём, обретут вечную жизнь, застыв в золотой смоле, как мухи в капле мёда. И будет это не проклятием, но милостью, ибо нет вечности, кроме памяти. И да познают они покой, которого не знали при жизни. И да кончится одиночество Ортега не разрушением, а сохранением».

Аурелиано читал и перечитывал. Это не было угрозой. Это было обещанием. Не смерть, а превращение в вечную статую, в экспонат в янтарном музее, который простоит до конца времён. Мелькиадес предлагал им бессмертие — но бессмертие ценой остановки, застывания, отказа от будущего.

— А как же Мария? — выдохнул он. — Как же Амаранта Урсула? Они не Ортега по крови, они не должны...

— Они тоже здесь, — перебил мальчик. Он указал хвостом на нижнюю часть страницы, и Аурелиано увидел там крошечные фигурки, выведенные словно детской рукой, но с невероятной точностью: мужчина с хвостом, склонившийся над книгой; женщина с волосами, разметавшимися, как медные змеи; девочка с огромными янтарными глазами; и мальчик с короной из травинки, сидящий на троне из муравьёв. — Мы все уже здесь. Мы всегда были здесь. Просто ты читал слишком медленно, папа. А я читаю быстро. Дядя Мелькиадес говорит, что я — его лучший писец. Лучше, чем ты.

Мальчик вдруг зевнул и потёр глаза кулачками — обычный, до боли обычный детский жест, который разорвал магическую атмосферу, как игла протыкает мыльный пузырь. На секунду он снова стал просто трёхлетним ребёнком, который хочет спать и которому приснился странный сон.

— Я спать хочу, — сказал он капризно. — Дядя Мелькиадес говорит, что на сегодня хватит. Завтра дочитаем. Осталось совсем немного.

Он повернулся и пошёл к двери, волоча за собой светящийся хвост. У порога он обернулся, и Аурелиано увидел в его глазах — на мгновение — нечто, похожее на прежнего, человеческого сына, который ещё год назад играл с муравьями и говорил, что не хочет быть королём.

— Папа, — сказал он тихо, уже своим, детским голосом, — я ведь не виноват, правда?

— Нет, — ответил Аурелиано, чувствуя, как слёзы текут по его щекам. — Ты не виноват.

Мальчик кивнул и исчез в темноте коридора. Его хвост ещё некоторое время мерцал во мраке, а потом погас.

Аурелиано остался один. Перед ним лежал пергамент, исписанный до конца, и последние строки, начертанные рукой его сына — или Мелькиадеса, действовавшего через его сына, — мерцали в свете масляной лампы. Он хотел разорвать лист. Хотел сжечь. Но руки не слушались. И тут сверху, с потолка, где застыл янтарный нарост в форме водопада, сорвалась капля — большая, золотая, тяжёлая — и упала на пергамент, прямо на последнюю строку. А за ней другая, третья. Янтарь заливал страницу, и Аурелиано понял: дом не даст уничтожить написанное. Автор дописал свою книгу. Читателю оставалось только дойти до конца вместе с персонажами.

Он сидел так до рассвета, глядя, как янтарь застывает на пергаменте прозрачной коркой, и думал о том, что завтра — или послезавтра, или через год — его сын снова сядет за стол, и на этот раз допишет всё до последней точки. И тогда...

Он не знал, что будет тогда. Но он знал одно: он не покинет сына. Даже если тот станет королём муравьёв. Даже если дом превратится в янтарный саркофаг. Потому что он был Ортега, а Ортега никогда не бросали своих — даже когда свои переставали быть людьми.

Глава VII. Материнский круг

Мария проснулась рано, ещё до того, как петухи в деревне — если они там ещё водились — начали свой утренний крик. Она спала плохо, и не только из-за духоты, которая стояла в доме, несмотря на открытые окна. Всю ночь ей снилась река, текущая янтарём, и в этой реке плыли её дети. Они не тонули, но и не могли плыть — просто висели в золотой гуще, как мухи в мёде, и смотрели на неё глазами, в которых не было ни страха, ни надежды. Она тянулась к ним, пыталась выхватить из смолы, но пальцы хватали лишь пустоту.

Проснулась она в холодном поту. Рядом спал Аурелиано, но его половина кровати была пуста — он так и не пришёл из кабинета. Мария накинула шаль и босиком, чтобы не разбудить детей, прошла по коридору. В кабинете горела лампа. Аурелиано спал, уронив голову на стол, и его рука всё ещё сжимала перо. Перед ним лежал пергамент, исписанный не его рукой — угловатыми, клинописными буквами, напоминавшими те, что Мария видела на старых листах, которые муж годами отказывался ей показывать.

Она осторожно, чтобы не разбудить его, высвободила пергамент и поднесла к лампе. Она читала долго. Строки, написанные детским почерком, гласили о вечной жизни в янтаре, о покое, о конце одиночества через остановку времени. Когда она дочитала до слов «и будет это не проклятием, но милостью», её рука, державшая лист, задрожала. Она поняла: их сын стал пером. Их сын стал голосом. Их сын перестал быть их сыном.

Она положила пергамент на место и вышла во двор. Солнце только начинало всходить, окрашивая небо в цвет разбавленного вина. Под каштаном стояли три глиняные фигурки, покрывшиеся мхом и лишайником, но всё ещё узнаваемые. Мария остановилась перед ними. Она не молилась — она никогда не умела молиться. Вместо этого она заговорила, тихо, но твёрдо:

— Вы уже помогли нам однажды. Вы отдали себя, чтобы выиграть нам время. Но время кончается. Мой муж проиграл свою битву. Мой сын уходит. Мне нужен совет. Не заклинание, не магия — просто скажите, что делать матери, когда у неё забирают ребёнка.

Ветра не было, но листья каштана вдруг зашелестели, и в этом шелесте Марии послышалось слово: «Молоко».

Она замерла. Молоко. Она вспомнила, как Урсула рассказывала — она сама не слышала, но Аурелиано пересказывал ей, — что своих выживших детей она вскормила молоком с толчёным жемчугом. Вспомнила, как в пятой главе её собственное молоко вдруг стало слаще, и янтарь на стенах засиял в ответ. Молоко было женской магией этого рода, магией, которой не владел ни Хосе Аркадио с его серебряными сердцами, ни полковник с его золотыми часами, ни сам Мелькиадес с его пергаменами. Это была магия, передававшаяся не по крови, а по любви.

Она вернулась в дом и разбудила мужа. Аурелиано поднял голову, и она увидела его глаза — красные, воспалённые, полные такого отчаяния, какого не видел даже полковник после тридцать второй проигранной войны.

— Я всё знаю, — сказала Мария. — Я прочитала.

— Я пытался, — прошептал он. — Три года я пытался. Но он пришёл и просто дописал. Я думал, я автор своей судьбы, а я всего лишь персонаж. И ты персонаж. И наши дети — персонажи. Мы живём в книге, которую написал мёртвый цыган, и у нас нет права голоса.

— Есть, — сказала Мария. — У нас есть молоко.

Аурелиано поднял брови.

— Я не знаю пока, что именно делать, — продолжала она, — но я знаю, что наше молоко — это ключ. В нём есть что-то, чего нет в чернилах Мелькиадеса. Я пойду к матке. Не за ядом. За советом.

— Ты с ума сошла. Она — сердце всего этого. Она служит Мелькиадесу.

— Она — мать, — ответила Мария. — А я — мать. Мы говорим на одном языке.

Она оставила Аурелиано с детьми и спустилась в подвал. Там было темно и сыро, но она не взяла с собой лампу — вместо этого она зажгла свечу, которую ей дала Пилар много лет назад, когда Мария только вошла в этот дом, и сказала: «Зажжёшь, когда придёт время просить». Теперь время пришло.

Муравьи расступались перед ней, как всегда, но теперь Мария замечала в их движениях нечто новое — не враждебность и не покорность, а скорее любопытство. Они словно понимали, что эта женщина пришла не как просительница и не как враг, а как равная. Подземный город разительно изменился: теперь это был настоящий мегаполис с ярусами, переходами, висячими мостами, сотканными из паутины, и в центре его, на троне, покоилась матка. Она была огромна, как никогда, и полупрозрачное брюшко её пульсировало, выталкивая новые и новые яйца, которые рабочие муравьи тут же уносили в специальные камеры.

Мария остановилась перед троном. Она не стала класть подношения — вместо этого она опустила на колени и положила ладонь на край трона, просто чтобы показать: у неё нет оружия.

— Я пришла не за ядом и не за угрозой, — сказала она. — Я пришла потому, что ты — мать. Ты рождаешь тысячи детей, и каждый из них для тебя — часть тебя самой. Ты никогда не увидишь, как они растут, ты никогда не узнаешь их по именам, но ты продолжаешь рожать их, потому что в этом твоя природа. Моя природа — защищать своих детей. У меня их двое, и один из них уходит от меня. Его забирает тот, кто написал всё это. — Она кивнула в сторону невидимого дома. — Я хочу вернуть его. Не навсегда — я понимаю, что вечность невозможна. Но хотя бы на время. Дай мне инструмент.

Матка долго молчала. Потом её усики дрогнули, и один из рабочих муравьёв, отличавшийся от остальных более светлым брюшком, подполз к Марии, держа в жвалах крошечный янтарный шарик. Мария взяла его. Шарик был тёплым и полупрозрачным, и внутри него виднелась капля жидкости молочного цвета.

Она поднесла шарик к свече, и в его глубине что-то задвигалось, словно в янтаре была заключена не просто жидкость, а сама память. Мария всмотрелась пристальнее и вдруг увидела в шарике отражение — но это было не её лицо. Это было лицо Урсулы, молодой, с распущенными волосами и глазами, которые ещё не утратили способность видеть.

Урсула ничего не сказала. Она просто посмотрела на Марию, и в этом взгляде было всё: и благословение, и предостережение, и передача невидимой эстафеты. Мария поняла: в шарике — молоко Урсулы, то самое, с жемчугом, застывшее в янтаре и сохранённое муравьями. Дом ничего не забывает. Дом хранит всё.

— Спасибо, — прошептала Мария, поднимаясь. — Я знаю, что делать.

Матка не шевельнулась, но Марии показалось, что в глубине фасеточных глаз мелькнуло что-то похожее на одобрение.

Наверху Аурелиано ждал её, держа на руках обоих детей. Амаранта Урсула спала, положив голову ему на плечо, а Аурелиано Третий сидел на полу и безучастно смотрел в стену. Его янтарный хвост мерцал, и муравьи кружили вокруг него, но сам он был где-то далеко — возможно, слушал очередную диктовку Мелькиадеса.

— Что ты принесла? — спросил Аурелиано.

— Молоко твоей прабабки, — ответила Мария. — Оно старше пергаментов. Оно старше пророчества. Если что и может переписать Мелькиадеса, то только это.

Она растопила янтарный шарик на водяной бане, добавила туда несколько капель своего собственного молока — она сцедила его, пока кормила дочь, — и, колебавшись, одну-единственную каплю своей крови, пущенную из пальца простым кухонным ножом. Смесь в мисочке зашипела, вспенилась и стала золотой, но не так, как чернила из яда и молока, которые они делали раньше, а глубже, теплее, словно в ней горел маленький огонь.

Она взяла перо — то самое, что валялось на столе, — и обмакнула его в смесь.

— Что ты хочешь написать? — спросил Аурелиано.

Мария задумалась. Она не знала языка пергаментов. Она не умела писать заклинания. Но она умела любить, и она надеялась, что этой любви хватит.

— Я не знаю, — честно ответила она. — Я надеюсь, что слова придут сами.

Она закрыла глаза и позволила руке двигаться. Перо скользнуло по пергаменту, и она почувствовала, что его ведёт не она, а что-то большее — не Мелькиадес, не призрак, а само материнство, древнее, как мир. Буквы ложились на бумагу, и они были не такими, как те, что писал Аурелиано, и не такими, как те, что писал сын. Они были мягче, округлее, они напоминали скорее рисунок, чем текст. Они складывались в слова, которые Мария понимала не умом, а сердцем: «Пусть то, что я дала им, когда они были частью меня, будет сильнее того, что написано о них до моего рождения. Пусть любовь матери перевесит слово пророка. Пусть мои дети будут свободны хотя бы на миг».

Когда она открыла глаза, на пергаменте сияли эти строки, и свет, исходивший от них, был не холодным золотом пророчества, а тёплым, почти оранжевым, как свет домашнего очага. В этот миг Аурелиано Третий, сидевший на полу, вдруг поднял голову. Его глаза, до того пустые, сфокусировались на матери. Он нахмурился, словно пытаясь что-то вспомнить, потом чихнул — обычным детским чихом, громким и смешным, — и сказал:

— Мама, я есть хочу. Ты сделаешь кашу с корицей, как тогда?

Мария выронила перо. Она подбежала к сыну, схватила его на руки и прижала к себе, чувствуя, как его маленькое сердце бьётся в такт её собственному. Это были его слова, его интонации, его просьба о каше с корицей — он обожал эту кашу год назад, до того, как муравьи начали строить для него трон. Она плакала и смеялась одновременно, и слёзы её падали на янтарный хвост мальчика, и там, где они касались, янтарь становился чуть более тёплым, чуть более живым.

Аурелиано смотрел на них, и в его глазах тоже стояли слёзы. Он не верил, что это возможно. Он, который годами бился над пергаментами, оказался бессилён перед словом мёртвого цыгана. А она, его жена, просто любила — и любовь оказалась сильнее.

Ночью, когда дети наконец заснули, и Аурелиано Третий впервые за долгое время уснул в своей постели, а не на полу среди муравьёв, Мария и Аурелиано сидели на веранде и смотрели на каштан. Янтарные наросты на стенах дома больше не светились угрожающе — они мягко мерцали, как засыпающий камин.

— На сколько его хватит? — спросил Аурелиано.

— Не знаю, — ответила Мария. — Может быть, на день. Может быть, на год. Может быть, пока я жива и пока моё молоко течёт.

— А потом?

— А потом будем думать. Главное, что сейчас он здесь. Сейчас он наш.

Она помолчала и добавила:

— Но борьба не окончена. Книга ещё не дописана. Мелькиадес не отступит. Он ждал этого сто лет, он подождёт и ещё.

В этот миг из детской донёсся голос Амаранты Урсулы — она не спала, хотя все думали, что спит.

— Мама, — позвала она. — Старик говорит, что ты молодец. Но он говорит, что книга всё равно закончится так, как должна. Просто теперь у нас есть немного времени.

Мария и Аурелиано переглянулись.

— Какой старик? — спросила Мария, хотя знала ответ.

— Который в саду, — ответила девочка. — Который лепит человечков. Он говорит, что скучает по тебе. И ещё говорит, что последние страницы — самые трудные. Пусть вы будете готовы.

Мария закрыла глаза. Хосе Аркадио, основатель, лепивший человечков даже после смерти, всё ещё был с ними. Все они были с ними — Урсула, полковник, Амаранта, Ремедиос, безротый первенец. Дом хранил их всех в своём янтарном сердце.

— Мы готовы, — сказала она. — Мы всегда были готовы.

И впервые за долгое время она сказала это с уверенностью.

Глава VIII. Дом безмолвия

В доме наступила тишина. Она была не такой, как прежде, когда тишина означала затишье перед бурей или паузу между двумя ударами судьбы. Эта тишина была окончательной — как если бы огромный механизм, работавший столетиями, вдруг остановился, и последний звук замер в воздухе, оставив после себя звенящую пустоту. Муравьи исчезли все до единого, и подвал стоял заброшенный, с недостроенными арками и пустым тронем, который теперь казался не зловещим, а просто печальным. Янтарные наросты на стенах больше не светились, и Мария, протирая их тряпкой, заметила, что они начали понемногу крошиться, оставляя на полу золотистую пыль, похожую на растёртые крылья бабочек. Пергаменты Мелькиадеса лежали на столе неподвижно — просто старые листы, покрытые выцветшими буквами, которые не переписывали себя и не диктовали строк.

Аурелиано не находил покоя. Три года он вёл ежедневную войну с пророчеством, и эта война, сколь бы безнадёжной она ни была, придавала его жизни смысл. Теперь, когда враг отступил, он почувствовал себя генералом, чья армия распущена, часовщиком, чьи часы встали. Он слонялся по дому бесцельно, трогал янтарные наросты, спускался в подвал и подолгу стоял над пустым муравьиным городом, пытаясь понять, что он чувствует. Это была не радость победы — победу одержала Мария, а не он. Это была не печаль поражения — поражение было бы привычнее. Это было нечто новое: пустота. Раньше его жизнь была наполнена борьбой; теперь борьба кончилась, и он не знал, кто он без неё.

Мария видела это. Она видела, как муж смотрит на неё с восхищением, смешанным с чем-то похожим на стыд, и сердце её сжималось. Она не хотела быть сильнее его; она просто сделала то, что должна была сделать, — то, что могла сделать только мать. Но она понимала: Аурелиано нужно найти свой собственный путь, или эта пустота сожрёт его.

— Ты должен поговорить с ними, — сказала она однажды вечером, когда дети уже спали, а они сидели на веранде, глядя на каштан. — Не со мной, не с детьми — с ними. — Она кивнула на три глиняные фигурки, которые в сумерках казались живыми.

— Я говорил с ними сотни раз, — ответил Аурелиано. — Они молчат.

— Молчат, потому что ты не спрашивал о том, что им важно. Ты спрашивал, как победить пророчество. А они, может быть, хотели не победы, а покоя.

Аурелиано долго смотрел на фигурки. Они стояли неподвижно, но ему вдруг показалось — или это был обман зрения, — что Хосе Аркадио, который всегда держал руки над глиной, теперь сложил их на коленях. Что полковник, опиравшийся на ружьё, теперь стоял прямо, без опоры. Что Урсула, которая смотрела вперёд, теперь повернула голову к дому. Он потёр глаза, но видение не исчезло.

— Ты права, — прошептал он.

В эту ночь он спустился в подвал. Он не взял с собой лампу — темнота была кромешной, но он знал дорогу наизусть. Он шёл мимо пустых муравьиных улиц, мимо брошенных колонн, мимо неоконченных статуй, которые должны были стать королевской свитой, и остановился перед тронем. Трон был пуст, но Аурелиано физически ощущал, что он не один. Воздух в подвале был гуще, чем наверху, и холоднее, и в этом холоде чувствовалось присутствие — не враждебное, но и не дружеское. Скорее, выжидающее.

— Я здесь, — сказал он вслух. — Я пришёл говорить. Не о пророчестве. Не о книге. О вас.

Тишина длилась так долго, что он уже решил — ответа не будет. Но потом в голове его раздался голос. Он не был звуком; он был мыслью, которая не была его собственной. Голос был скрипучим, как рассохшаяся глина, и Аурелиано сразу узнал его — хотя никогда не слышал при жизни.

— Ты проиграл, — сказал Хосе Аркадио. — Твоя жена сделала то, что не смог ты.

— Знаю, — ответил Аурелиано. — Она спасла сына своей любовью. А я не смог спасти его своим знанием.

— Зачем ты здесь? Хочешь, чтобы я сказал тебе, что ты не бесполезен?

— Нет. Я хочу понять, чего вы хотите. Вы — мёртвые. Вы уже ушли однажды, когда муравьи унесли вас. Но вы вернулись. Почему?

Пауза. Потом другой голос — мягкий, как шелест старой ткани. Урсула.

— Мы не ушли, — сказала она. — Мы не можем уйти. Мы привязаны к этому месту, как дерево к земле. Мы отдали себя муравьям, но муравьи ушли, а мы остались. Мы — незавершённая история. Мы — персонажи без последней страницы.

— Я пытался дописать её, — возразил Аурелиано. — Три года я переписывал строки.

— Ты переписывал, но не дописывал, — ответила Урсула. — Ты боролся с текстом, но не завершал его. Мелькиадес написал историю от начала и почти до конца. Но последняя страница была оставлена пустой — не в пергаменте, а в самой ткани мира. Тот, кто допишет её, освободит нас.

— Освободит? Разве янтарь — не вечная жизнь?

— Янтарь — это ловушка, — сказал Хосе Аркадио. — Я думал, что вечная жизнь в золотой смоле — это милость. Но теперь я вижу: это та же смерть, только бесконечная. Мы устали. Мы хотим уйти по-настоящему. Не в янтарь, не в книгу — а в ничто, где нет памяти и нет боли.

Аурелиано почувствовал, как его хвост, давно безжизненный, снова напрягся и задрожал. Он понимал: то, о чём просят предки, — это не победа над пророчеством. Это исполнение пророчества. Не бунт против Мелькиадеса, а сотрудничество с ним — но на своих условиях.

— Что я должен написать? — спросил он.

— Прощение, — ответила Урсула. — Не заклинание, не приказ, не магию. Просто слова. Слова, которые мы никогда не говорили друг другу при жизни. Слова, которые снимут груз. Напиши, что Хосе Аркадио прощает себя за рубиновое сердце, которое он вырезал из гордыни, а не из любви. Напиши, что я прощаю себя за брошенного первенца, и пусть он наконец обретёт покой в реке. Напиши, что Амаранта прощает себя за отказ полковнику, а полковник — за то, что не смог её любить без боли. Напиши, что все мы прощаем друг друга и отпускаем.

Аурелиано молчал. Он думал о том, как странно: всю жизнь он пытался переписать пророчество, а теперь его просят не переписывать, а дополнить. Не отменить прошлое, а принять его и отпустить.

— А Мелькиадес? — спросил он. — Он согласится?

— Мелькиадес — не враг, — ответил голос, и на этот раз это был третий голос, которого Аурелиано не узнал. — Мелькиадес — летописец. Он записал то, что видел. Он не хочет нам зла; он просто не умеет писать окончания. Все его истории бесконечны, потому что он сам бесконечен. Ему нужен тот, кто закончит.

Аурелиано поднялся наверх, когда уже начинало светать. Мария ждала его в кабинете, держа в руках лампу. Она не спрашивала — она видела ответ в его глазах.

— Ты знаешь, что делать, — сказала она.

— Да. Но мне понадобятся твои чернила. И твоя рука.

— У тебя есть своя рука. И я дам тебе чернила.

Она сцедила немного молока — уже меньше, чем раньше, потому что Амаранта Урсула росла и всё меньше нуждалась в груди, — и смешала его с последними каплями яда, которые оставались во флаконе. Чернила получились бледнее, чем прежде, почти прозрачные, но они светились мягким, утренным светом.

Аурелиано сел за стол и взял перо. Он не знал, с чего начать. Он никогда не писал прощений — только формулы и контрзаклинания. Он закрыл глаза и попытался представить своих предков не как символы, не как персонажей книги, а как живых людей, которые когда-то

дышали, любили, ошибались. Он представил Хосе Аркадио в его мастерской, склонённого над рубином, и пот, стекающий по его лбу. Представил Урсулу, молодую, с косой света, прижимающую к груди младенца без рта. Представил полковника, сидящего у каштана и глядящего на закат после тридцать второй проигранной войны. Представил Амаранту, вышивающую саван и плачущую беззвучными слезами.

И он начал писать.

Он писал не на языке Мелькиадеса и не на языке материнской любви, который изобрела Мария. Он писал на своём собственном языке — языке читателя, который слишком долго был только читателем и наконец решился стать писателем. Его строки были простыми, почти сухими, лишёнными метафор и заклинаний. Он не приказывал и не просил. Он свидетельствовал.

«Хосе Аркадио Ортега, первый в роду, вырезал сердце из рубина не из гордыни, а от страха перед бесконечностью. Он не знал, как иначе запечатлеть любовь, и потому запечатлел её в камне. Я, его потомок, свидетельствую: он сделал это из любви. И отпускаю его вину».

«Урсула Игуаран де Ортега бросила своего первенца в реку не из жестокости, а от ужаса перед его безмолвием. Она никогда не простила себе этого. Я, её потомок, свидетельствую: она сделала это, потому что боялась. И отпускаю её вину».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.